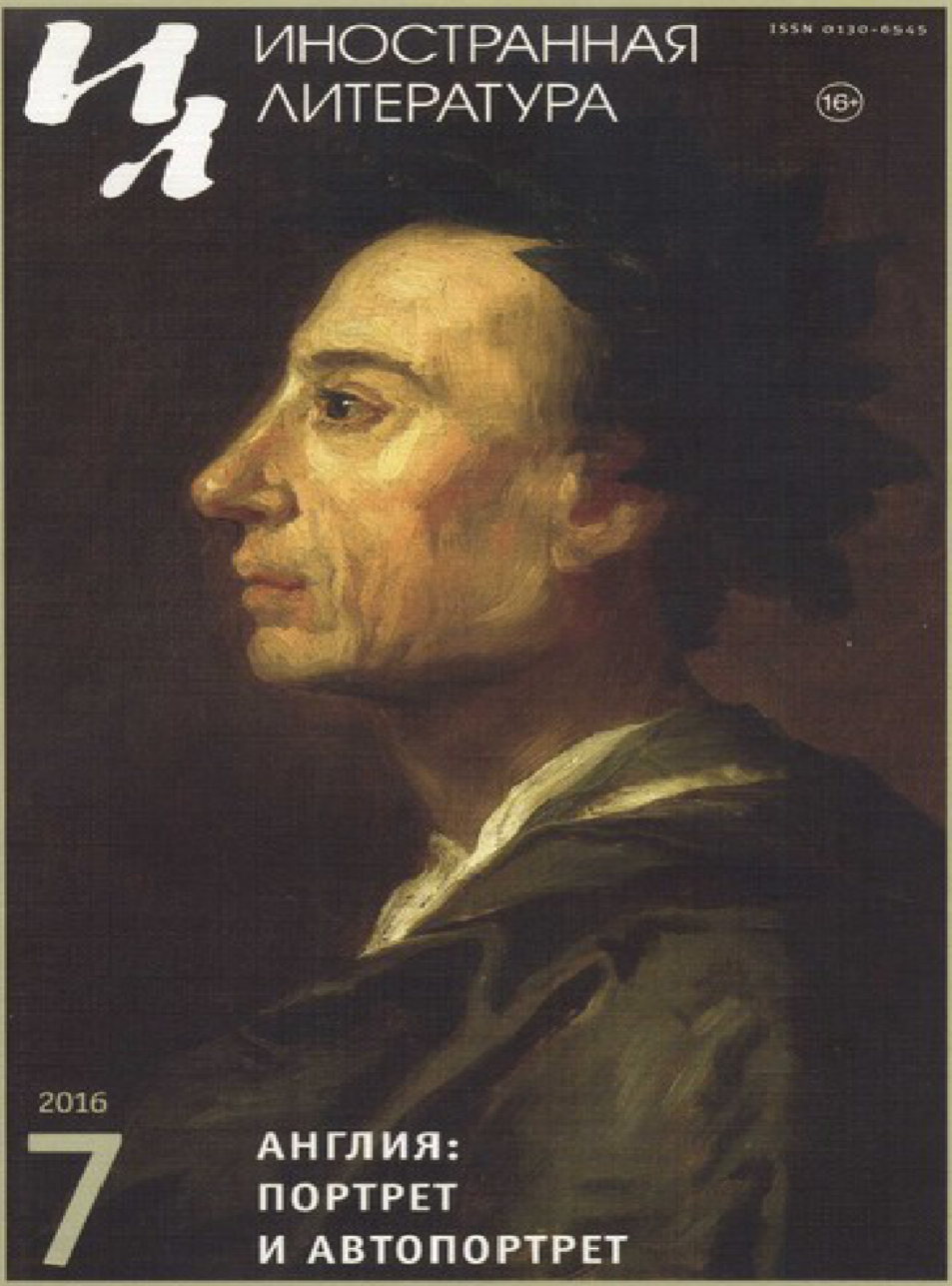
ИЛ
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ISSN 0130-6545
16+



2016
7

АНГЛИЯ: ПОРТРЕТ И АВТОПОРТРЕТ

Основан в 1955 году

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В рубрике «Из будущей книги» — начальные главы биографии «Грэма Грина», написанной переводчиком и литературоведом Александром Ливергантом.

- Александр Ливергант
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

Александр Ливергант
Грэм Грин
Главы из биографии

Жизнь, по правде говоря, я люблю не слишком.

Грэм Грин Из письма жене

Все, что есть во мне хорошего, стоящего — в моих книгах. Ну а жизнь, это то, что в них не вошло.

Грэм Грин

Глава первая
Грины из Берхэмстеда

Внук пивовара и сын владельца сахарных плантаций, умершего от желтой лихорадки на Антильских островах, Чарльз Генри Грин, прямо скажем, звезд с неба не хватал. Не то что его старший брат Грэм, удостоившийся в конце жизни рыцарского звания. И никогда не стал бы директором привилегированной школы для мальчиков в Берхэмстеде (графство Хартфордшир, час езды на поезде к северу от Лондона), если б не везение. «Везением» оказался плешивый коротышка в черных гетрах, с густой бородой лопатой, со значительным видом (какой бывает у карликов), отличавшийся грубостью и садистическими наклонностями. Доктор Томас Чарльз Фрай по прозвищу (ироническому, разумеется) Великолепный с мальчиками не церемонился, давал волю рукам, а одного ученика нещадно поколотил в присутствии класса за то, что встретил его в парке без головного убора, каковой за несколько минут до того был сорван с головы бедняги пробегавшим хулиганом. Но самым большим преступлением было подглядывать, как доктор направляется в уборную, из-за чего приходилось заблаговременно выгонять из ведущего в нужник коридора всех учеников и горничных. Грэм Грин справедливо называл Фрая «абсурдной фигурой, тираном и садистом» — но с чужих слов: когда директор Берхэмстеда и, к слову, крестный отец Грэма доктор Фрай покинул школу, став настоятелем церковного прихода в Линкольне, будущему писателю не было и пяти лет.

Чарльз Генри Грин, кончивший Оксфорд по истории и классическим дисциплинам с дипломом всего-навсего второй ступени, не мог рассчитывать не только на пост директора школы, но и рядового учителя, не женись он на племяннице жены доктора Фрая, тогдашнего директора, который своего родственника облагодетельствовал — ну как не порадеть родному человечку! Сначала взял его к себе преподавателем истории и древних языков и, надо сказать, не просчитался: учителя «любили» своего директора ничуть не больше, чем ученики, родственник же демонстрировал похвальную лояльность. А потом, собравшись уходить на повышение, сделал все возможное, чтобы попечительский совет выбрал в директоры Чарльза Генри, что было нелегко. Во-первых, как уже было сказано, оксфордский выпускник особыми способностями не блистал, а, во-вторых, в ноябре 1910 года собралось, как назло, чуть ли не тридцать

соискателей на этот престижный пост. Прошел слух, что, узнав про результаты голосования, невозмутимый с виду, солидный и в молодости тоже Чарльз Генри, «человек доктора Фрая», как его справедливо называли, пустился в пляс.

В отличие от своего свирепого предшественника, Чарльз Генри рукам волю не давал, а когда однажды в сердцах влепил ученику пощечину, даже перед ним извинился. Не то что его подчиненный, классный наставник Симпсон (школьная кличка Симми), описанный Грином в «Дорогах беззакония»: тройной подбородок, грязная, съехавшая на бок учительская мантия, демоническая внешность; играл на контрабасе в школьном оркестре и в любую минуту готов был влепить ученику пощечину, а то и отделать розгами. Гневался Чарльз Генри, правда, часто и тогда, чтобы держать себя в руках, оглаживал директорскую мантию, топорщил пушистые усы, оглушительно хлопал крышкой парты, стряхивал с сюртука пепел (вообще был неряшлив), прочищал горло, теребил пенсне на носу и от волнения никак не мог разжечь трубку. Случалось, впадал в раж и тогда кричал: «Уж лучше пусть закроют школу, лишь бы она не стала рассадником тайного порока!»

Да, у Чарльза Генри был бзик: детей, в отличие от Фрая, он не порол, но зато денно и нощно боролся с подростковыми пороками, наставлял свою паству против однополой любви и рукоблудия, требовал поэтому, чтобы мальчики не держали руки в карманах, которые в случае неповиновения немедленно зашивались. Собственноручно обходил туалетные комнаты, дабы убедиться, не предаются ли ученики греху Онана. Пойманные на рукоблудии немедленно, в назидание другим, из школы изгонялись, скандальные книги отбирались и «на ковер» вызывались родители юного правонарушителя. Ученикам (а случалось, и учителям) Чарльз Генри постоянно делал замечания, предупреждал о последствиях недостойного поведения, и учителя поддерживали своего директора в неустанной борьбе за нравственность: за школьниками устанавливалась круглосуточная слежка, их допрашивали, в случае надобности устраивали даже перекрестный допрос. Однажды один мальчик, ни разу не замеченный прежде в предосудительном поведении, на глазах у префекта поцеловал на улице в щечку знакомую девочку — и был «за развратные действия» на следующий же день исключен из школы. Главное, наставлял преподавателей и префектов Чарльз Генри, не оставлять учеников одних, пускай даже по улице ходят по трое, как в армии, — «чтобы не оставались в крамольном одиночестве»[1], — прокомментирует много лет спустя его сын. И гулять имеют право только по воскресеньям, по будням же пусть

грызут гранит науки. Мало того, перед тем как выйти из школы, обязаны записывать свои имена на листе бумаги, который вывешивался у двери в раздевалку, — «учет и контроль»! По ночам учителям надлежало обходить спальные комнаты (спальная комната — сильно сказано: каждый ученик спал в крошечном отдельном отсеке за деревянной перегородкой), неусыпно следить за мальчиками всех возрастов и заставлять их заниматься спортом: в здоровом теле здоровый дух! Летом — крикет, зимой — футбол и регби, бег — круглый год.

Но и всем этим Чарльз Генри не ограничивался. Слежка распространялась и на учителей и префектов, доносительство сделалось в школе самым коротким и надежным путем к сердцу директора. С началом войны он — и не он один — заболел вдобавок шпиономанией, однажды ему донесли, что учитель немецкого языка — шпион, так как его видели под железнодорожным мостом и без шляпы! Улики, согласитесь, неопровержимые. Ученикам же директор собственноручно задавал «неудобные» вопросы: «Ты знаешь, что такое мастурбация?» Или конкретнее: «Можешь припомнить, сколько раз ты занимался рукоблудием?» Или: «Какие чувства ты испытываешь к другим мальчикам?» Читал украдкой зевавшим ученикам проповеди в школьной часовне, приводил пространные цитаты из Ветхого Завета, убеждал вести непорочную жизнь, не сквернословить, не говорить непристойностей, призывал к порядку и прилежанию («прилежание» — его любимое слово). И к добродетельному поведению. Говорил так: «Мужской похотью кормится целая армия женщин». Или: «Уверен, у меня нет нужды убеждать вас не пить спиртного и не играть в азартные игры». Или: «Помните, вы должны быть чисты перед вашей будущей женой». Или: «Когда женитесь, вы должны хранить жене верность».

Учителя и ученики, тем не менее, любили своего директора, учителя особенно: он давал им свободу преподавать, как им вздумается, педагогические эксперименты, в отличие от морально-нравственных, приветствовал. Экспериментировал и сам: читал школьникам три курса: английский, историю и латинских классиков, и так, бывало, увлекался, что далеко уходил от темы занятий. На уроке истории мог, к примеру, сказать так: «Кстати о Древнем Риме, позвольте мне привлечь ваше внимание к тому, о чем вчера в кулуарах пытались сговориться мистер Ллойд-Джордж и мсье Клемансо. Заглянем на мгновение в ту пропасть, что разверзлась перед либеральной Европой».

Мальчики называли Чарльза Генри (за глаза, естественно)

Чарли и побаивались его, а Чарльз Генри побаивался мальчиков — как бы чего не вышло. Однажды «вышло»: 11 ноября 1918 года в день окончания Первой мировой войны школа в первый и последний раз вышла из подчинения. Чарльз Генри, памятуя о понесенных школой потерях (на полях Фландрии полегло 300 берхэмстедцев), запретил праздновать победу и объявил выходной день учебным, за что чуть было не поплатился: с горя напившись и устроив шумное шествие по улицам города, ученики собрались было выкупать непатриотичного директора в местном пруду, не спрячься тот заблаговременно в своем кабинете…

Вообще, любил отсиживаться за закрытой дверью, уединялся не только в бурные, но и в спокойные времена. Любил порядок, покой, тишину. В отпуск отправлялся, как правило, без семьи, со своим близким другом священником, таким же, как и он, директором школы. И, соответственно, терпеть не мог того, что зовется «публичными развлечениями». Когда, уже после войны, повел учеников на коллективный просмотр «Тарзана» в только что открывшийся в городе синематограф (небольшое зеленое здание с мавританским куполом), сам был не рад: ушел, не дождавшись конца и чертыхаясь, — стыдно смотреть! Любил посидеть с книжкой в своем кабинете, попыхивая трубкой. Или вздремнуть в школьной библиотеке, развалившись в глубоком кресле и надвинув на глаза свою неизменную академическую шапочку. Или провести час-другой в шезлонге, в саду собственного дома, сгоняя дымом от трубки мух с виноградных лоз. Любил сыграть партию в шахматы, хоть бы и с учениками — лишь бы играть умели. Любил стихи, в особенности Роберта Браунинга, к которому приохотил и сына Грэма; подарил ему на конфирмацию томик поэта, десяток стихов Браунинга Грин знал наизусть (в отличие, признавался он в автобиографии, от Нагорной проповеди).

Больше же всего любил дом, семью, жену — особенно. Чарльз Генри Грин и Мэрион Реймонд Грин были счастливы в браке, на свадебной фотографии смотрелись отлично — на то она, впрочем, и свадебная. Он — молодой, щеголеватый, в смокинге и синем жилете, с ухоженными усами и с веселой, безмятежной улыбкой покладистого парня — это потом, когда станет директором школы, характер испортится. Она — миловидная, высокая, статная, с осиной талией. «Думаю, родители были очень любящей парой. Их брак выстоял под напором шестерых детей и немалых невзгод», — вспоминал четвертый по счету ребенок в семье и герой этой книги. Особых невзгод у Гринов не наблюдалось, да и не предвиделось, но шестеро детей, писатель прав, для любой семьи — испытание не из легких. «Моя

бесценная радость и прелесть, — писал любимой жене из Египта любящий муж, — у меня болит душа, так хочется видеть тебя, мое счастье. Как же мне тебя не хватает… Там, где тебя нет, — пустыня». Последняя фраза — с учетом того, что написана она в пустыне, — особенно трогательна. И этим любовным излияниям, несмотря на некоторую избыточность, можно верить.

Не влюбиться в дальнюю родственницу Стивенсона Мэрион Реймонд и в самом деле было трудно — сплошные достоинства. Вдобавок к привлекательной, располагающей к себе внешности еще и примерная протестантка (другую Чарльз Генри в жены бы не взял), сильная личность, образцово воспитана, рациональна, практична, не словоохотлива, очень сдержанна — терпеть не могла, как и ее знаменитый сын, объятий и поцелуев. Когда волновалась, никогда не плакала, не повышала голос — прикроет рукой дрожащие губы, отвернется, и все. По-настоящему любила только мужа (залог счастливого брака), детям же уделяла внимание строго по расписанию. Няня, как это было тогда принято, приводила их к матери всего на час, с шести до семи вечера. Сама же мать шестерых детей, как пишет в первой части своей автобиографии Грин, «изредка наведывалась в детскую с официальным визитом». И добавляет уже без тени улыбки: «Мать связана в моей памяти с сознанием того, что она редко бывает рядом». А если и бывала — добавим от себя, — то больше следила за порядком, чем за Грэмом.

Чарльз Генри не мог уделить детям даже этот час — целыми днями, до позднего вечера, пропадал в школе в неравной борьбе с «аморалкой». «Для нас, детей, отец был скорее директором, чем отцом, и еще более далек от нас, чем мать», — вспоминал Грэм Грин. И во взрослой жизни Грин был с матерью близок, постоянно с ней переписывался, хотя не раз повторял, что так и не получил от нее «глубоко прочувствованной» («deep-breasted») материнской защиты, к которой так стремился Фрэнсис Эндрюс, герой его первого напечатанного романа «Человек внутри». От отца же с возрастом отдалился, редко ему писал. Когда же отец, страдавший в старости диабетом, в 1943 году умер, получил из дома (он тогда служил в британской разведке в Сьерра-Леоне) две телеграммы «в обратном порядке»: в первой сообщалось о смерти Чарльза Генри, во второй — что он тяжело болен. Ситуацию с перепутанными телеграммами Грин, к слову сказать, опишет спустя много лет в «Сути дела»: из первой телеграммы от жены майор Скоби узнает о смерти дочери, из второй — что она серьезно больна. Да и в детстве, если отец чем сыну и запомнился, то, пожалуй, лишь тем, как он умеет, прижимая ладонь к губам, квакать по-лягушачьи или дает сыну поиграть

крышкой своих золотых часов. А еще тем, что постоянно выслушивал его наставления и однажды заработал пощечину. За то, что сбежал с уроков и спрятался дома в детской — благо, бежать было недалеко: дом директора находился при школе.

Светскую жизнь Грины вели главным образом в кругу родственников. А значит, общались со всем городом: Гринов в маленьком Берхэмстеде было не меньше тридцати. На крещение Грэма, названного так в честь родственника матери Грэма Бальфура, троюродного брата Стивенсона, присутствовал добрый десяток Гринов всех возрастов и профессий. Все, и мужчины, и женщины, как на подбор высокие, статные, узкоплечие. Разные по характеру, амбициям, профессиям, но почти все одинаково предприимчивые и успешные — и в торговле, и в политике, и в пивоварении, и в образовании, и в банковском деле и — забежим вперед лет на двадцать — в литературе. Мало отличались Грины друг от друга и досугом. Шумные сборища на Рождество с десятком перемен на фамильных сервизах, с рождественскими спектаклями, шарадами, пантомимами. По воскресеньям — церковь, три раза в неделю — теннис и, по желанию, — крикет. На зимние каникулы ездили в Лондон на обед к двоюродной бабке Мод, той, что в свое время познакомила Стивенсона с миссис Ситуэлл, его первой большой любовью. Или в театр, самым большим успехом у детей пользовался театр герцога Йорка и, конечно же, спектакль «Питер Пэн», они могли хоть каждый день смотреть сцену из пьесы, где Питер Пэн в одиночестве сражается против целой армии пиратов. Летом либо гостили в Харстон-хаусе, в Кембриджшире, у дяди Грэма, загадочного, замкнутого холостяка в очках на широкой черной ленте. Того самого, кто удостоился в конце жизни рыцарского звания. И за дело: Грэм Грин старший без малого полвека прослужил отечеству верой и правдой в Адмиралтействе. Либо же выезжали всей семьей в Литтлхэмптон, на морской курорт. Мэрион Реймонд с детьми отправлялась раньше, и вагоном третьего класса (экономия в этой весьма состоятельной семье была строжайшая, поистине пуританская). В Харстон обремененный делами Чарльз Генри, как правило, не ездил, отчего младший Грин и полюбил усадьбу дяди: там он был предоставлен самому себе, и никто ему не читал мораль. В Литтлхэмптон же отец выезжал, но на неделю-другую позже жены и детей, причем в вагоне второго класса; директор Берхэмстеда мог и даже должен был себе это позволить: noblesseoblige[2].

Грины были заметными людьми города с восемнадцатого столетия. Основу их благосостояния заложил родившийся в 1780 году Бенджамин Грин, это он открыл знаменитую и по сей день

«королевскую» пивоварню в Бэри-Сент-Эдвардс, и он же прикупил сахарные плантации на Антильских островах, те самые, где заработал желтую лихорадку Уильям Грин — невезучий отец Чарльза Генри. Еще больший успех выпал на долю сына пивовара: Бенджамин Бак Грин дослужился немного-немало до директора Английского банка, и этот пост занимал четверть века. Его братья тоже добились «степеней известных»: один стал преуспевающим адвокатом, другой — членом парламента от консервативной партии. Отличались Грины не только незаурядными способностями, но и любовью к филантропии: невестка Бенджамина Бака завещала Обществу по распространению Евангелия полмиллиона фунтов. Отличался похвальной страстью к благотворительности и владелец пивоварни, тесть доктора Фрая, дядя Чарльза Генри Грина. Это он в 1895 году построил (а вернее, перестроил здание, существовавшее с середины шестнадцатого века) берхэмстедскую школу (красный кирпич, мозаичные полы из полированного мрамора), открывшуюся в том же году и рассчитанную на триста с лишним учеников; когда же в нее пошел Грэм, число учащихся перевалило за пять сотен.

Чарльз Генри тоже был человеком не бедным, но самым состоятельным Грином в первые годы после смерти королевы Виктории был его старший брат Эдвард, обладатель самого большого в городе дома Холл-ин-Берхэмстеда, двадцати трех (!) слуг, шофера и, так же, как и младший брат, шестерых детей. Деньги предприимчивый и трудолюбивый дядюшка заработал в далекой Бразилии на кофе («Кофейная компания», Сан-Пауло) и на банковских операциях, после чего вернулся домой пожинать плоды своей предприимчивости и пожить в свое удовольствие. В Холл-ин-Берхэмстеде, у «двоюродных Гринов», Чарльз Генри и Мэрион Реймонд с детьми и проводили выходные и праздники, обменивались рождественскими подарками и в сочельник, как это водится в Германии, распевали немецкие рождественские песни: жена дяди Эдварда была немкой. Здесь Грэм и обрел своего первого друга, младшего сына дяди Эдварда, Тутера (прозванного так, по-видимому, оттого, что был криклив и неуживчив). Мальчики, как им и положено, играли в солдатиков и в детскую железную дорогу, сиживали на крыше, объедались конфетами, купленными на еженедельно выдаваемые им два пенса на карманные расходы, и мечтали, как будут вместе путешествовать, станут шкиперами или полярниками и откроют Южный полюс, открытый Робертом Фолконом Скоттом в год рождения Грэма. С Тутером, если не считать двухнедельной поездки в Германию, Грину путешествовать не пришлось, а вот с его сестрой Барбарой

лет двадцать спустя он отправится вместе странствовать — правда, не в Антарктиду, а в Либерию.

Глава вторая
«Каждое младенчество печально» [3]

Из шестерых детей «интеллектуальных Гринов» (как их прозвали Грины-коммерсанты), Чарльза Генри и Мэрион Реймонд, Грэм был четвертым. Сестра Молли и братья Герберт и Реймонд были старше его, сестра Элизабет, младшая в семье, и брат Хью, подвизавшийся всю жизнь на журналистском поприще и ставший к старости сэром Хью, генеральным директором Би-би-си, — младше. Любимыми сыновьями матери были Грэм и Реймонд, в детстве не ладившие друг с другом; Грэм вспоминал, что его не раз подмывало хватить успешного, многообещающего брата крокетным молотком по голове. Со временем выпускник Оксфорда Реймонд стал известным врачом и не менее известным альпинистом, покорителем Эвереста. Любимым же сыном отца всегда оставался Герберт. Самый старший и самый незадачливый из детей, он был похож на Чарльза Генри больше остальных, и отец прощал ему и пьянство, и азартные игры, и мотовство, и переменчивость интересов. Чем только Герберт в жизни ни занимался: и книги сочинял («Тайный агент в Испании», 1938), и журналистом (куда менее ярким и острым, чем Хью) подвизался, и брокером поработал, и даже шпионом. Тут он, впрочем, исключением не стал: на ниве «плаща и шпаги» проявили себя многие Грины, не он один.

Журналистикой Герберт увлекался со школы, уже в двенадцатилетнем возрасте издавал «Школьную газету» («School House Gazette»), куда писали все члены семьи — умевшие к тому времени писать, естественно. В газете имелись рубрики на все вкусы: «Колонка пропаж», «Шутки и загадки», «Застольные беседы»; последняя являлась «ареной для полемики», и юные полемисты выражений не выбирали: «Ты все переврала!», «Все девчонки — дуры» и т. д. Самой же популярной в семье газетной рубрикой была придуманная Гербертом анкета, на которую должны были отвечать все члены семьи, и взрослые, и дети. Вот несколько вопросов этой анкеты и ответы на нее семилетнего Грэма, который за свой «исповедальный катехизис» получил вторую премию — двенадцать тюбиков акварельных красок.

1. Твоя цель в жизни? — Подняться в небо на аэроплане.
2. Что для тебя счастье? — Поездка в Лондон.
3. Какие качества ты больше всего ценишь в мужчинах? — Внешность.

4. А в женщинах? — Чистоту и порядок.

5. Твой любимый досуг? — Игра в индейцев.

6. Твое хобби? — Собирать монеты.

7. Кто, по-твоему, величайший государственный деятель из ныне живущих? — Никого не знаю.

Ответы как ответы. Несколько странно, правда, что семилетний Грэм, любящий, как всякий мальчишка, играть в индейцев и летать на аэроплане, ценит в мужчинах не мужественность и силу, а внешность, а в женщинах — чистоту и порядок. Мужчины и женщины у него словно бы поменялись местами. Этими несколько неожиданными ответами не исчерпывалась некоторая необычность четвертого ребенка Чарльза Генри и Мэрион Реймонд. Уделяй родители своим детям больше времени, чем один час с шести до семи вечера, будь «официальные визиты» в детскую более частыми и менее официальными — они бы, надо думать, призадумались, что собой представляет этот замкнутый и нервный мальчик, мало похожий на других детей.

Из детства, дошкольного и школьного, Грэму Грину запомнилось разное, большей же частью — мрачное, жутковатое, отталкивающее, отчего потом он никак не мог избавиться, что преследовало его всю жизнь. Кладбище за домом, где садовник «извлекал из земли кусочки человеческих костей». Старая гостиница со зловещим названием «Темное место» — наверняка в такой гостинице было некогда совершено кровавое преступление. Леденящая кровь история, которую рассказал однажды пришедший к обеду гость: в Ройстон в коляске ехали две дамы, лошадь понесла, одна из дам выпала на дорогу, и длинная шляпная булавка впилась ей в голову. Жестяной ночной горшок, полный крови, — это ему дома удаляют миндалины; вид крови и впредь будет вызывать у него тошноту: «В течение последующих тридцати лет я не выносил вида крови и иногда терял сознание, даже когда при мне просто описывали несчастный случай». Любимый щенок старшей сестры Молли, попавший под колеса омнибуса — одно из первых и самых болезненных его впечатлений. Никаких чувств он тогда почему-то не испытал, только с какой-то тихой детской созерцательностью подтвердил свершившийся факт: «Бедная собака». В так называемом Школьном доме, куда Грины, когда Чарльз Генри стал директором, переехали из своего прежнего дома Сент-Джон, длинные, пустые коридоры, «каменные, гулкие, безобразные». Под стать коридорам и классные комнаты, одинаково мрачные, темные, промозглые, с облупившимися, забрызганными

чернилами партами. Раздевалки, где стоял густой, терпкий запах пота и грязной одежды. Спальни, разделенные деревянными перегородками, такими тонкими, что из-за кашля, скрипа кроватей, храпа невозможно было заснуть. Вонючие нужники: двери распахнуты, запоры сорваны. Грин вспоминал потом, что, войдя в уборную, следовало, словно предупреждая о себе, с порога крикнуть: «Где не занято?»

Сохранились воспоминания и менее тягостные. Беседка за кустами через дорогу. Чем-то она к себе притягивает, манит. В детских играх дом, где он живет, — Англия, дорога — Ла-Манш, а беседка за дорогой — далекая, загадочная Франция. Запомнился, прямо как у Пруста, вкус пресного печенья из тонко просеянной муки, которое ела мать, одеколон, которым она душилась, — фрейдистам тут было бы что обсудить. Запомнились россыпи почтовых марок и открыток с видами, которые он в детстве, как и полагается замкнутому, погруженному в себя младенцу, неутомимо собирал и, высунув от натуги язык, вклеивал в специальные альбомы. Запомнился дом в Харстоне, где жизнь била ключом: по утрам домочадцы, сбившись с ног, ищут, куда припрятали полные ночные горшки малолетние проказники — Грэм и его младший брат Хью; это ему, кстати сказать, Грэм уже в школьные годы продаст свою коллекцию марок за баснословную сумму — десять пенсов. Гостиная в Берхэмстеде сохранилась в памяти затянутой вощеным ситцем стеной, на фоне которой в кресле у камина неподвижно сидит, листая альбом с дагерротипами, мать.

Однако из всех комнат большого дома лучше всего запомнилась, конечно же, детская: младшие Грины проводили там большую часть суток. Доверху набитый игрушками шкаф, затянутый изнутри желтыми шелковыми занавесками. Деревянная лошадь «со злыми глазами». Большое, уютное кресло-качалка перед стальной каминной решеткой, где сиживала няня; служанок и горничных в доме Чарльза Генри сменилось много, а вот няня, большая, тучная, круглоголовая, которую взяли еще к старшей сестре Грэма за тринадцать лет до его рождения, — была несменяема. Почему-то удержалось в памяти: он, четырехлетний, сидит в ванне, а над ним склонилась ее большая голова, волосы гладкие, на затылке пучок. Няня отличала Грэма от остальных детей, жалела мальчика, росшего тревожным, замкнутым и диковатым. Когда в 1971 году младшая сестра Грина, сидя в больнице у постели престарелой няни, читала ей только что вышедшую автобиографию своего знаменитого брата, умирающая прервала ее словами: «Грэм был такой сладкий мальчик, как же мне грустно, что в школе ему приходилось так тяжело».

Многие воспоминания «сладкого мальчика» неотделимы от страхов. У чувствительного, по любому поводу плачущего Грэма (над рассказом о детях, которых хоронили птицы, он однажды прорыдал всю ночь) страх вызывало все. «Страх и уют сопровождали жизнь, — напишет Грин в 1926 году в стихотворении „Лекарство от грусти“. — Страх без уюта жил, уют без страха — нет». Боялся ложиться вечером спать; боялся ночных кошмаров, которые потом преследовали его всю жизнь и не раз повторялись. Сны снились не только страшные, но и провиденциальные: семейная легенда гласит, что, когда Грэму было семь лет, ему приснилось кораблекрушение (человек в клеенчатом плаще согнулся в три погибели под ударом гигантской волны) — и в эту самую ночь утонул «Титаник». Стремясь отогнать кошмары, брал с собой в постель игрушечного медведя, или кролика, или синюю плюшевую птичку и требовал, чтобы няня зажигала ночник (не спать же в темноте!), оставляла приоткрытой дверь, чтобы слышны были голоса взрослых с ведущей в спальню лестницы. Случалось, нарочно ронял медведя или кролика на пол и звал няню — пусть подберет игрушку, укроет и приласкает. Или среди ночи вставал, выбегал из спальни и усаживался на ступеньках лестницы. А то как бы не прокралась к нему коварная ведьма, что подглядывала за ним, Грэм точно знал, из-за комода, — тут уж плюшевая птичка не выручит. Боялся обшитой зеленым сукном двери, ведущей из Школьного дома в здание школы, «где начались мои мучения». Боялся — и не только в детстве — смотреть на воду, ведь где вода, там и утопленники: в местной газете не раз писали, что из канала выловлено тело и ведется расследование. И на небо: после того как за городом рухнул одноместный аэроплан, ему стало казаться, что «аэроплан может упасть от одного моего взгляда». Боялся зверей в клетках: придя в зоопарк впервые, разнервничался, уселся на землю и заявил: «Я устал. Отведите меня домой». Боялся летучих мышей, птиц и даже мух, требовал, чтобы на ночь в спальне наглухо закрывали окна. Боялся, как бы в доме среди ночи не вспыхнул пожар. Боялся шагов по лестнице, чужих людей. И не чужих тоже. Наставник приготовительного класса мистер Фрост — и не столько сам Фрост, сколько его «веселый, людоедский хохот» и длинная, до полу, черная учительская мантия, которую он запахивал «театральным жестом», — вызывал у мальчика панический страх, и он пропускал занятия под любым предлогом, далеко не всегда благовидным.

И страхами своими не делился, тщательно их скрывал. Вообще был скрытен, считал, что со взрослыми лучше не

откровенничать. «Я никогда не могла взять в толк, радуется он или огорчается, одобряет наши поступки или нет», — вспоминала его тетка Ева, жена брата отца. Скрытен и упрям: совершив дурной поступок, наотрез отказывался извиняться. И терпеть не мог нежностей: когда его пытались поцеловать, отворачивался, вырывался. Нежностей и похвал; отец читал с ним книжку, нечто вроде букваря, с сусальным названием «Чтение без слез» и постоянно — авансом — хвалил, отчего «Чтение без слез» без слез не обходилось. Долгое время упрямо не желал учиться читать, а когда выучился, не хотел, чтобы об этом узнали, — могут ведь отдать раньше времени в ненавистную школу. Его, восьмилетнего, и отдали — долго, правда, к этому ответственному шагу готовили, «ходили вокруг него с опаской, суживая круги», как вокруг набоковского Лужина.

Глава третья
Директорский сынок

В школе — подготовительной, куда можно еще было ходить из дома, а не оставаться на ночь, — возникли новые увлечения и новые страхи.

Свою первую книжку «Диксон Бретт, сыщик» Грэм прочел, впрочем, не в школе, а еще в Харстоне, сам удивляясь тому, что этим навыком овладел. В школе же читал запоем, предпочтение отдавал, как и все мальчики его возраста, приключениям и книгам по истории, вообще историей увлекался, и школьный историк вывел даже в его табеле: «Имеет задатки историка». Вот его фавориты: Шарлота М. Янг «Маленький герцог» (цитаты из этой книжки разошлись на эпиграфы ко всем без исключения главам «Ведомства страха»), «Пак с Пуковых холмов» и «Сказки просто так» Киплинга, «Дети нового леса» капитана Фредерика Марриэта, «Копи царя Соломона» Райдера Хаггарда, «Дракула» Брэма Стокера, «Айвенго» Вальтера Скотта, «Лесные любовники» Мориса Хьюлетта. И, разумеется, Беатрикс Поттер. Особенно же — «Миланская гадюка» Марджори Боуэн. «Когда я в семнадцать лет прочел ‘Миланскую гадюку’, — рассказывал впоследствии Грин в „Потерянном детстве“, — книга произвела на меня неизгладимое впечатление. Прочитав ее, я уяснил себе, что природа человека не бывает белой или черной, а только черной или серой». На традиционный вопрос, что бы он взял с собой на необитаемый остров, юный книгочей без запинки ответил: Чарльза Лэма и Фрэнсиса Бэкона — это в десять-то лет!

Полюбил бродить по городу, где, как оказалось, таилось немало всего интересного. Скажем, огромная норманнская церковь и деревянный, еще тюдоровский дом на Хай-стрит. Или неподалеку от заросшего водяным крессом Большого соединительного канала громоздившийся на холмах старый замок. Или на той же Хай-стрит магазин игрушек, где престарелая миссис Фигг торговала оловянными солдатиками; имелись в ее хозяйстве и сипаи, и зулусы, и буры, и гвардейцы Наполеона в киверах, и русские казаки с усами, в шароварах с лампасами — все, кто когда-либо бросал вызов Британской империи. Или здание ломбарда, куда однажды Грэм «в минуту жизни трудную» принес заложить сломанную крикетную биту, которую почему-то взять отказались. Или книжная лавка Смита, примечательная в основном тем, что из нее сын директора Берхэмстедской школы, Грэм Грин, украдкой вынес

«Железнодорожный журнал» — зачем он ему понадобился, бог весть. Или ювелирная лавка, где у окна бессменно восседал похожий на библейского Моисея ювелир-часовщик с окладистой седой бородой и со стеклышком в глазу. Или фотоателье Ньюмена, где царил таинственный полумрак и в ванночках с проявителем и фиксажем плавали отпечатки с неясными эпизодами из школьной жизни: Ньюменбыл официальным фотографом Берхэмстедской школы.

Боялся же теперь двух вещей. Во-первых, как бы, не дай Бог, не продемонстрировать свою несостоятельность, в основном это касалось спорта и военной подготовки; спорта — особенно. В очерке «Старая школа» лет двадцать спустя напишет: «Школьные занятия и спортивные игры следовало бы развести как можно дальше, ведь в школах спортом пользуются в первую очередь для того, чтобы привить ученикам чувство примитивной лояльности».

Грин был до крайности физически неловок (его биограф Норман Шерри пишет, что до Оксфорда даже галстук сам не умел завязать), да еще страдал плоскостопием и тактику избрал простейшую: избегать тех занятий, где его несостоятельность даст себя знать. В том числе и детских праздников, ведь там приходилось танцевать, продемонстрировать, чему он научился на уроках танцев, «от которых у меня в памяти остались только черные, блестящие туфли с туго щелкающими резинками». Танцев, тенниса, гольфа, плавания боялся как огня. Пока его сверстники лазали по канату, прыгали, играли в футбол или регби, он убегал домой или же незаметно выскальзывал из Сент-Джона с книгой в кармане. Поднимется по узкой тропинке на холм, потом спустится в заросший боярышником овраг, где и отсиживается. Военную подготовку ненавидел точно так же, как и физкультуру. Уроки по «военному делу» прогуливал все до одного. В качестве же благовидного предлога или ссылался на болезнь — в детстве был и в самом деле слабого здоровья, чем только не болел: и корью, и желтухой, и плевритом. Или придумывал дополнительные занятия по математике, в которой был, и правда, не силен, и даже для пущей достоверности называл фамилию учителя, который якобы, его «подтягивал». «Всю свою жизнь, — признавался впоследствии Грин, — я инстинктивно избегал всего того, к чему не имел склонностей и способностей».

И, во-вторых, боялся воспользоваться своим положением директорского сына. Тут Грину и в самом деле не позавидуешь, останься Чарльз Генри рядовым преподавателем истории и классических дисциплин, его чересчур тонкокожему сыну жилось бы намного легче. Теперь же он находился в постоянном

цугцванге: доноси он на соучеников, они бы его возненавидели и обязательно ему мстили; если бы молчал — навлек бы на себя гнев отца, не подозревавшего о терзаниях сына и, как мы знаем, доносы поощрявшего. Да и кто бы ему поверил, что он молчит и Чарльзу Генри не жалуется?! Впрочем, как бы Грэм себя ни повел, он бы все равно оказался в изоляции: прекрасно зная, что собой представляет отец, соученики не могли доверять сыну. И вообще, лучший, самый надежный способ общения с близким родственником начальника — это держаться от него на расстоянии, разве нет?

С другой стороны, трудно отказать себе в удовольствии помучить нескладного, неловкого, очень робкого, («самого робкого мальчугана, с которым я имел дело», — вспоминал школьный учитель Сандерленд-Тейлор), избалованного директорского сынка. Помучить и самоутвердиться за его счет. Тем более, если «робкий мальчуган» не в состоянии постоять за себя, больше всего на свете ценит одиночество, избегает физических упражнений и любит своим шепелявым, срывающимся голоском читать вслух никому не ведомые стихи. Такие, как избалованный всеобщей любовью, заботой и достатком «домашний ребенок», впервые попавший в школьное общежитие только в тринадцать лет и считавший, что родители его «бросили», «предали», — во все времена и во всех школах мира становятся легкой добычей учеников, да и учителей тоже. «Что-то в нем было странное, необычное, непохожее на всех нас», — вспоминает его одноклассник и приятель Клод Кокберн. Особенно необычное — добавим от себя — по контрасту с Реймондом, который, в отличие от младшего брата, не отсиживался с книжкой в овраге — учился отлично, спортсменом был первоклассным, а еще школьную газету издавал и был бессменным почетным секретарем школьного Дискуссионного клуба, чем вызывал всеобщее уважение.

Рядом с таким, как тринадцатилетний Грин, не мог не возникнуть такой, как Картер, Лайонел Артур Картер. Полная Грэму противоположность. Хорош собой. Примерный ученик. Одет с иголочки (если это выражение применимо к аскезе закрытой английской школы). Меньше всего похож на хулигана, по любому поводу распускающего руки. Картер, изощренный не по возрасту садист, действовал не руками, а языком — предпочитал подвергнуть свою жертву не физической расправе (тут он рисковал получить сдачу), а, так сказать, морально-психологической; Картер не бил, он унижал. «Довел до совершенства систему интеллектуальных пыток, основанных на моем двусмысленном положении в школе», — вспоминает Грин в

«Части жизни». Придумывал ему насмешливые прозвища, которые потом подхватывали остальные. Напевал неприличные стишки собственного сочинения про Чарльза Генри, прекрасно понимая, что Грэм из гордости доносить не станет. Прилюдно высмеивал его любовь к поэзии. То вступался за Грэма, то, наоборот, без всякой видимой причины, становился на сторону его преследователей; как и полагается садисту, умел сменить гнев на милость, а потом опять милость на гнев. Предлагал ему свою дружбу и покровительство — и тут же от него отворачивался: «Постоянно протягивал мне руку дружбы, которую отдергивал в последний момент, как конфету, оставляя меж тем впечатление, что где-нибудь, когда-нибудь пытка кончится». Был отличным психологом: выдумывал, что его высекли за какую-то ничтожную провинность, чем вызывал у сердобольного Грэма искреннее сочувствие. И не только сочувствие, но даже восхищение («Меня восхищала его жестокость, а его — моя уязвимость»), которое можно объяснить обаянием Картера, его широкой, располагающей к себе улыбкой, вкрадчивым тоном, умением втереться в доверие. Прежде же всего, конечно, тем, что Грэм по молодости лет неважно разбирался в людях, да и деваться ему было, в сущности, некуда…

Хуже всего было то, что Картер был не один, при нем «состоял» некий Уилер, бывший его тенью, во всем ему подражавший. Это был ничем, в отличие от Картера, не примечательный, веселый, с виду добродушный парень, роль которого состояла в посредничестве между палачом и его жертвой. Картер и Уилер действовали сообща и по одной и той же испытанной схеме: Грэм делится с Уилером, которого по наивности считает своим близким другом, всем самым сокровенным; Уилер пересказывает услышанное Картеру; Картер выставляет Грэма в издевательском свете. И работала схема бесперебойно.

Предательство Уилера, которому Грэм, когда начнет писать, поменяет фамилию на Уотсон (Картер будет Коллифаксом), Грин перенес гораздо тяжелее, чем унижения, которым на протяжении нескольких лет подвергал его Картер, и поклялся Уилеру отомстить. Уместно, как кажется, привести здесь отрывок из «Части жизни», чтобы, как говорится, «закрыть тему».

> После окончания школы прошло много лет, но когда я мысленно возвращался в Сент-Джон, то чувствовал, что жажда мести живет во мне, как ящерица под камнем. Правда, я заглядывал под камень все реже. Я начал писать, и прошлое отчасти утратило власть надо мной,

перейдя на бумагу…

В декабре 1951 года я зашел в магазин «Колд сторедж компани» в Куала-Лумпуре купить виски на Рождество, которое собирался провести в Малакке. Я только что вернулся из Пананга после трехдневного патрулирования джунглей с Гурхскими стрелками, выискивающими партизан-коммунистов, и чувствовал, что Малайя мне порядком надоела. Чей-то голос произнес: «А ведь это Грин!»

Рядом стоял человек с лисьим лицом и усиками.

— Да, — ответил я, — боюсь, что…

— Я Уотсон.

— Уотсон?

Вероятно, я очень давно не поднимал камень, потому что ни имя, ни бурое лицо обитателя колоний ни о чем мне в тот момент не говорили.

— Мы учились в одной школе, помнишь? Ты, я и еще Картер, мы были этакой троицей. Ты еще натаскивал нас с Картером по латыни.

В те дни, когда я грезил наяву, мне не раз представлялось, как мы с Уотсоном сталкиваемся где-нибудь в людном месте, и я его публично унижаю. Ничего более публичного, чем куала-лумпурский магазин «Колд сторедж компани» во время рождественской лихорадки, невозможно было себе представить, однако я смог лишь пробормотать, что «был не слишком силен в латыни».

— Но уж точно посильнее нас.

— Чем занимаешься? — спросил я.

— Таможня и акцизы. Ты играешь в поло?

— Нет.

— Тогда приходи посмотреть, как играю я.

— Я сегодня уезжаю в Малакку.

— Ну, когда вернешься. Вспомним старые времена. Мы ведь были неразлучны: ты, я и Картер.

Было очевидно, что его воспоминания разительно отличаются от моих.

— А что стало с Картером?

— Работал в управлении связи и умер.

Я сказал:

— Когда я вернусь из Малакки…

И в задумчивости вышел из магазина.

Встреча вышла совсем не такой, как я себе представлял. По пути в гостиницу я размышлял, начал

бы я писать или нет, если бы не Уотсон и покойный Картер, если бы не те годы унижений, которые вселили в меня неукротимое желание доказать, что я чего-то стою, сколько бы времени это ни заняло. Нужно ли мне было благодарить за это Уотсона или наоборот? Я вспомнил еще одну старую мечту: стать консулом в средиземноморской стране; чтобы ее осуществить, я даже успешно прошел собеседование. Если бы не Уотсон… Но Уотсон тревожил меня недолго: по приезде в Малакку я напрочь о нем забыл.

И лишь много месяцев спустя, когда я уехал из Малайи, как полагал, навсегда, я вспомнил, что так и не позвонил ему, не сходил посмотреть, как он играет в поло, не предался совместным воспоминаниям о трех неразлучных друзьях. То, что я забыл его так легко, возможно и было моей неосознанной местью. Приподняв камень в очередной раз, я увидел, что под ним ничего нет[4].

Глава четвертая
О пользе психоанализа

Еще больше Картера-Уилера и многих лет унижений угнетало Грэма в школьной жизни то, что он назовет впоследствии «существованием при диктатуре, постоянными бесчестьем, безответственностью и несправедливостью». А еще — «беспросветной монотонностью существования». Восемь семестров из тринадцати (с короткими перерывами на каникулы) «депрессивный подросток» продержался, с трудом перенес «сто четыре недели однообразия, унижений и душевной боли», а потом — сорвался. Не помогло даже решение отца отпускать сына на воскресенье домой. И не только не помогло, но еще больше осложнило его отношения с соучениками, которые лишь утвердились во мнении, что Грэм — осведомитель Чарльза Генри, иначе бы принципиальный отец ни за что не пошел сыну навстречу. И задались старыми, как мир, риторическими вопросами: «Почему ему можно, а нам нельзя?» и «Чем мы хуже?»

В результате директорский сынок проводит в школе времени все меньше, а в овраге за чтением все больше. Налицо все признаки того, что сегодня психиатры назвали бы «индогенной депрессией»: отсутствие интереса к окружающему и окружающим, нарастающее чувство своей никчемности, мания преследования, сопровождающаяся бредовыми измышлениями. Однажды, перед сном, Грэм пытается, чтобы не ходить на занятия, разрезать себе перочинным ножом колено — но не хватило духу, да и нож оказался тупым. После чего следует череда самоубийств. Один раз, забравшись в темную кладовую возле шкафа с бельем, выпивает фиксаж в полной уверенности, что он ядовит. В другой — опустошает бутылочку с микстурой от сенной лихорадки. Поскольку в ней было немного кокаина, суицидент не только не покончил счеты с жизнью, но даже воспрянул духом. Правда, ненадолго: спустя некоторое время сначала отведал пучок белладонны, собранной на лугу, а потом проглотил двадцать таблеток аспирина. После чего для пущей верности забрался в воду в пустой школьной купальне: «До сих пор помню странное ощущение, будто плыву через вату».

И, наконец, за день до начала осенних занятий, убедившись, что лишиться жизни не так-то просто, кладет на черный дубовый буфет под графин с виски письмо, где ставит родителям ультиматум. Или они дают ему свободу, или он спрячется в лесу за пустырем Берхэмстед-коммон, где спустя три года, обнаружив

в шкафу револьвер старшего брата, будет играть в русскую рулетку. И не выйдет из леса до тех пор, пока не получит гарантии, что в свою тюрьму (так и написал — «тюрьму») он больше не вернется. Выдержал бы характер юный борец за свободу, неизвестно, ибо по дороге в лес он встретил свою старшую сестру Молли, которая вместе с подругой отправилась на его поиски. Мог бы, конечно, убежать, но «это не вязалось с бесстрашием моего протеста», и был возвращен домой.

И, совершенно неожиданно для себя, одержал победу: родители отнеслись к побегу со всей серьезностью, куда большей, чем беглец мог ожидать, осознали — быть может, впервые в жизни, — что их сын близок к нервному срыву и что он и в самом деле может исчезнуть из города или, чего доброго, покончить с собой. Испугались не на шутку — и не только за Грэма, но и за себя. Ведь если бы юноша лишил себя жизни или его пришлось бы искать с помощью полиции, в крошечном Берхэмстеде эта история стала бы притчей во языцех. И, очень может статься, Чарльзу Генри пришлось бы оставить свой пост, причем со скандалом. Узнав, что Грэм убежал из дома, Чарльз Генри, помешанный, как мы знаем, на подростковых «сексуальных отклонениях», в первый момент решил, что сын подвергся гомосексуальному домогательству. Отчего встревожился еще больше, строго-настрого запретил домочадцам обращаться в полицию и, не найдись Грэм так быстро, провел бы в школе всестороннее и тщательное расследование — благо добровольных осведомителей у него хватало.

Вот как опишет случившееся в письме своей невестке лет тридцать спустя Мэрион Реймонд, которая не терпела малейшего отклонения от правил и потому помыслить не могла, что ее сын способен на столь решительный шаг:

> Утром, накануне того дня, когда Грэм должен был вернуться в Сент-Джон, ему нездоровилось; мне показалось, что у него поднялась температура, глаза были воспаленными… Я оставила его в постели, сама же пошла распорядиться по хозяйству. Когда я вернулась, комната была пуста, а на буфете лежала записка, где говорилось, что в школу он не вернется, что попытался отравиться глазными каплями, но у него ничего не вышло, и он ушел из дома, и больше мы его никогда не увидим… В полицию мы решили не обращаться. Доктор МБ посадил меня к себе в машину, и мы объехали все площадки для гольфа и въехали в лес; ехали по лесной дороге и, не переставая, его окликали. Потом, уже после

обеда, Молли сказала, что у нее такое чувство, будто она сможет его найти, и, прихватив бутерброды, отправилась вместе с мисс Арнеллна поиски брата. И они нашли его: Грэм сидел на опушке леса недалеко от города. Привели домой, я уложила его в постель и пообещала, что в школу он больше не вернется.

Меры были приняты незамедлительно. Из Оксфорда был вызван «для консультаций» учившийся на медицинском факультете Реймонд, который сделал довольно необычное для 1920 года предложение — забрать младшего брата из школы и отдать его на несколько месяцев лондонскому психоаналитику. Не убежден, что Чарльз Генри знал тогда значение этого слова.

Времени на раздумья не было, и квалификацию Кеннета Ричмонда никто не проверял. Не знали Грины и того, что представления Ричмонда о воспитании молодежи в корне отличались от консервативных методов Чарльза Генри. «Дядюшка Чарли бывал, быть может, излишне суров со своим сыном, — придет к выводу Ричмонд через полгода после приезда к нему Грэма. — Думаю, он не шел навстречу пожеланиям своих детей». Ричмонд же был сторонником того, чтобы давать ученикам максимум свободы, чтобы от учебы они получали удовольствие. Он был принципиальным противником закрытых школ и репрессивных мер, с учениками, считал Ричмонд, нельзя говорить языком «нельзя» — только «можно». «Есть только одна цель — знания, и только одно средство их достичь — свободное и активное развитие», — писал в своей книге «Расписание» Ричмонд, который, надо сказать, и сам «развивался свободно и активно». Одно время держал вместе с женой пансион, затем, познакомившись со своим кумиром Карлом Юнгом, освоил профессию психоаналитика, причем, как полагается юнгианцу, особое значение придавал снам. Был Ричмонд и педагогом, и литератором (пописывал рецензии, пьески), и даже медиумом: с потусторонним миром вступал в контакт еженедельно и с неизменным успехом. Человек спокойный, сдержанный, отзывчивый, он был предан делу, любил жизнь, любил своих пациентов, призывал их «прислушиваться к своему собственному голосу», «слушать в себе Бога». Сам же «слушал в себе Бога» не без посредства бутылки виски; с возрастом Ричмонд впадет в депрессию и сопьется.

В данном случае, однако, важны были не либеральные взгляды Ричмонда на воспитание, не увлечение Юнгом, спиритизмом и виски, и даже не лечение Грэма новомодным, еще невостребованным в те годы психоанализом; важно было

поменять молодому человеку обстановку, вдохнуть в него жизненные силы, вернуть уверенность в себе. На успех, при том в каком состоянии находился подросток, никто особенно не рассчитывал, меж тем он превзошел все ожидания: Ричмонд оказался именно тем человеком, который Грину был, что называется, прописан.

Напрашивается сравнение Грэма с Оливером Твистом, попавшим, читатель помнит, из воровского притона Сайкса и Феджина к благороднейшему, добрейшему и заботливейшему мистеру Браунлоу. С Грэмом произошло примерно то же самое, хотя Мэрион Реймонд и Чарльза Генри с Сайксом и Феджином, а их дом с притоном, конечно же, не сравнишь. И все же с отъездом в столицу у Грэма начинается новая жизнь. Уютный, со вкусом обставленный дом, и не где-нибудь, а в Бейсуотере, на Ланкастер-гейт. Завтраки в постели, которые подает горничная в накрахмаленном белом чепце. Чтение под деревьями Кенсингтонского сада. Грэм в это время увлекается имажистскими стихами Эзры Паунда. Спустя пару лет, в Оксфорде, он напишет про него эссе и даже получит за это эссе премию. Не забывает и про учебу: все проведенные у Ричмонда месяцы прилежно изучает латинскую хрестоматию, учебники по истории, которые по его просьбе присылает ему из дома мать. Неустанно гуляет по бескрайнему — не чета Берхэмстеду — Лондону: музеи, театры, книжные магазины, мюзик-холлы, бывает в местах и похуже мюзик-холлов… «Все это, — напишет Грин спустя полвека в автобиографии, — казалось нереально прекрасным после каменных ступеней, классных стен в чернильных пятнах, перекличек, вони в душевой…»

Под стать дому на Ланкастер-гейт были и его хозяева. Сорокалетний Кеннет Ричмонд, больше похожий на музыканта или художника, чем на врача, который исцеляет душевные недуги: высокий, сутулый, с высоким лбом и длинными волосами, зачесанными назад без пробора. Его красавица жена Зоя и две прелестные маленькие дочки, воспитанные — вспоминал Грин — по принципу «детям можно все» — его ведь и самого так до школы воспитывали. В отличие от Берхэмстедской «тюрьмы», Грэму теперь тоже можно было все: полная свобода времяпрепровождения; прав было сколько угодно, обязанности же сводились к тому, чтобы час в день сидеть с дочерьми Ричмондов, пока родители находились в церкви в Бейсуотере, где царили поистине демократические нравы. Прихожане сами принимали решение, что прочтет с кафедры пастор — проповедь или лекцию по психологии. А второй час по утрам, после завтрака, когда хозяин дома включит секундомер, — пересказывать ему свои сны

(а если они забылись, то их придумывать, импровизировать непосредственно во время сеанса), что доставляло пациенту удовольствие едва ли не большее, чем психоаналитику. Дело в том, что сны уже тогда не в меру влюбчивого Грэма Грина носили порой несколько предосудительный характер. Судите сами:

> — А теперь, — сказал Ричмонд после короткой беседы на теоретические темы, — расскажи мне, что тебе снилось этой ночью.
>
> Я прочистил горло:
>
> — Мне запомнился всего лишь один сон.
>
> — И какой же?
>
> — Мне снилось, будто я лежу в постели… — начал я.
>
> — Где?
>
> — Здесь.
>
> Ричмонд что-то записал в своем блокноте. Набравшись духу, я продолжал:
>
> — Раздался стук в дверь, и вошла Зоя. Она была обнажена. Она склонилась ко мне. Ее грудь коснулась моих губ. Я проснулся.
>
> — И с чем же ассоциируется у тебя женская грудь? — спросил Ричмонд и включил секундомер.
>
> — С поездом подземки, — вымолвил я после долгой паузы.
>
> — Пять секунд, — подытожил Ричмонд[5].

Еще более приятной обязанностью, чем пересказ снов, было общение с кузиной Эйв, она тоже одно время жила у Ричмондов, не раз сопровождала двоюродного брата в его прогулках по городу и вызывала у него отнюдь не только родственные чувства… А также присутствие по вечерам на литературных чаепитиях с участием такого известного поэта, как Уолтер де Ла Мар; возвратившись домой и гордясь завязавшимися «литературными связями», Грэм пригласит к родителям «своего друга» де Ла Мара «на чашку чаю с земляничным вареньем». Бывали у Ричмонда и именитый в меж военные годы романист Дж. Д. Бирсфорд, а также литературный редактор «Уикли Вестминстер» Нейоми Ройд-Смит. Не был чужд литературы и Ричмонд — психоаналитик, как мы уже знаем, тексты писал самые разнообразные, вовсе не только педагогические. Мало того что Ричмонд творил сам — он приохотил к литературе и своего пациента. В «Уикли Вестминстер» с легкой руки не слишком разборчивой и слишком благожелательной Нейоми Ройд-Смит печатается первая проба пера Грэма Грина с красочным и не слишком внятным названием «Творение красоты: исследование о

сублимации» — психоаналитические сеансы Кеннета Ричмонда, как видим, не прошли даром. Под стать названию и содержание философского очерка (трактата, памфлета?), представляющего собой диалог Бога и некоего «архитектора вселенной» на тему любви и судеб человечества. «Неужто ты не видишь, — внушает архитектору Всевышний, — что, дав человеку красоту женщины, ты дал ему красоту вселенной!»

Спустя полгода, «самые счастливые полгода моей жизни», Грин вернулся в Берхэмстед, как принято говорить, «другим человеком»: «Я уехал в Лондон застенчивым, необщительным подростком, а вернулся тщеславным всезнайкой». Главное же — всезнайкой, уверенным в себе. Благополучная жизнь способствует обретению высокой самооценки — ее-то Грэму так не хватало. Все, что раньше, до Ланкастер-гейт, было сложно и даже мучительно, теперь стало просто и в удовольствие. Если раньше он упорно сторонился любой «общественной деятельности», старался не бывать на виду, то теперь стал заметным членом школьного сообщества. Играл в школьных спектаклях, на школьных вечерах, к радости отца, бойко декламировал Шекспира — куда девались робость, сутулая спина, задушенный, шепелявый голос? Прослыл активным участником школьного Дискуссионного клуба: с пеной у рта обличал Ллойд-Джорджа, его недальновидную ирландскую политику и черно-пегих[6].

Ненавистная школа, как выяснилось, не так уж плоха, тем более что отец, не желая рисковать, разрешил сыну жить дома, быть «дневным мальчиком», как называют в Англии учеников, не живущих в школе и находящихся там лишь в течение учебных часов. Картеры и уилеры потеряли над ним власть (Картера, впрочем, в Берхэмстеде уже не было, Чарльз Генри предусмотрительно от него избавился), да и физические его изъяны, еще недавно так мешавшие жить, куда-то подевались. Удалось, причем без особого труда, расположить к себе всех тех, кто еще недавно от него отворачивался или над ним издевался. А также — освободиться от спортивных игр и военной подготовки, на чем настоял Кеннет Ричмонд. Теперь вместо «шагистики» Грэм занимался верховой ездой с преподавателем физкультуры, краснолицым и дружелюбным сержантом Лаббоком. И испытывал «презрительное сострадание к одноклассникам, которые понуро брели колонной с военной подготовки», покуда он со своим тогдашним другом Питером Кеннеллом, сидя на старом, заброшенном кладбище, читали друг другу вслух «Желтую книгу»[7] с озорными рисунками Обри Бердслея.

С остальными занятиями дело также пошло на лад: перейдя в шестой класс и получив аттестат об общем образовании, Грэм

был вправе отказаться от математики, латыни и греческого, которые никогда ему не давались. Теперь в качестве основных предметов были выбраны французский, история и английский. Бегло говорить на языке Мольера и Гюго Грин так и не выучился, зато не без удовольствия и не без успеха переводил сонеты Эредиа и даже монологи Расина. Преподавал французский португалец Роус, красивый, смуглый, молодой еще человек, отличавшийся барственной внешностью и безапелляционностью суждений, что не мешало ему относиться с энтузиазмом к первым пробам пера семнадцатилетнего литературного переводчика.

И не только переводил, но и продолжал писать — лиха беда начало. Напечатал в «Берхэмстедской газете» аллегорию «Тирания реализма», где Король Реализм преследует Фантазию, «деву со скорбными губами». А написанный ритмизованной прозой рассказ «Тиканье часов» попал не только в школьную газету, но и в лондонскую, и даже удостоился гонорара в размере трех гиней. Но что такое гонорар в сравнении со славой? И Грэм, как встарь, уединяется в лесу или в овраге, вынимает из кармана тщательно сложенную вырезку из газеты «Стар» и, упиваясь успехом, читает и перечитывает свой рассказ самому себе. Спустя годы он оценит свои первые литературные опыты более трезво. «Ты не поверишь! Я бредил от счастья. В свои шестнадцать лет я получил первый гонорар в газете „Стар“ за ужасный сентиментальный очерк», — напишет он в августе 1925 года своей будущей жене. О том же вспомнит и в автобиографии: «В тот солнечный день в ‘Тиканье часов’ я не обнаружил ни одного просчета. Я испытал чувство славы в первый и последний раз в жизни». В последний?

Пробует свои силы и в драматургии, не только играет в школьном театре, но и сочиняет одноактные пьесы с действием в Средние века, жанр которых сам же определил как «брутальная фантасмагория». С одной из таких брутальных фантасмагорий случился, можно сказать, брутальный курьез. Одну из этих пьес, содержание которой Грин за давностью лет забыл, помнил только, что действие в ней перемещается из Лондона в… Самарканд, юный автор послал в лондонскую драматическую студию. Ответ, против всякого ожидания, не заставил себя долго ждать: «Ваша пьеса принята к постановке, приезжайте подписать контракт и познакомиться с режиссером-постановщиком». Окрыленный, Грин едет в Лондон, приходит по указанному адресу — и попадает в дом свиданий.

notes

Примечания

1

Автобиографические книги Г. Грина «Часть жизни» и «Пути спасения» здесь и далее цитируются в переводе А. Бураковской.

2

Положение обязывает (франц.).

3

И. Бунин. Жизнь Арсеньева.

4

Часть жизни. Гл. 3.

5

Часть жизни. Гл. 5.

6

Английские полицейские и отставные военные, а также отсидевшие в тюрьме уголовники, посылавшиеся в Ирландию для усмирения членов националистической организации шинфейнеров.

7

Иллюстрированный ежеквартальный журнал символистского направления, который выходил в Лондоне с 1894 по 1897 гг. и в котором печатались художник Обри Бердслей, писатели Макс Бирбом, Генри Джеймс и др.